

Всероссийская олимпиада школьников по литературе
Муниципальный этап 2019
11 класс

Право выбора текста для комплексного анализа предоставлено участникам олимпиады

ЗАДАНИЕ 1.

Вариант 1. Комплексный анализ художественного текста

Выполните целостный анализ рассказа Н. Конова «Аметисты», приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: художественное произведение в культурно – историческом контексте, средства выразительности в изображении основных художественных образов, особенности повествования.

Ваша интерпретация текста не должна исчерпываться предложенными рекомендациями, которые обозначают основные аспекты анализа произведения в единстве его формы и содержания.

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст

Николай Кононов.

Аметисты

Эта история выстроилась сама собою без моего участия в какую-то комическую очевидность с макабрическим оттенком, и, чтоб от нее избавиться, — ее стоит записать. Итак, путь, дорога, поезд, конечно. Плацкартный поздний вагон. Я тогда еще не жил в одном из самых прекрасных и безразличных городов в мире, но был, как говорится, — на подступах. Мне светил лучший свет той поры — в виде трех лет аспирантуры университета. Кстати, учреждение сие оказалось более чем демократичным в самом хорошем смысле. Но речь не об этом. Я был простужен, что и немудрено при питерской сырости, — говорил хриплым дурным голосом, совсем не соответствующим моей внешности. Поезд, невзирая на то что был дополнительным, оказался набит под завязку, и мне досталось боковое верхнее место у самого туалета. Но всего-то девять часов ночного стремительного пути — чего переживать? Пока то да се — билеты, постельное белье, чай (весьма нужный при моем простуженном горле) — дама, моя “соседка” по столику, разговорилась со мной. Она была в высшей степени элегантною дамой, одетой по-дорожному строго, но женственно, с небольшим багажом: как выяснилось, она — к сестре в Москву. А я? Дальше на юг. На море? Нет? В степи. А... ей стало неинтересно. А какой я раз в Ленинграде? Такой-то... Ну, совсем немного вы бывали в поразительном

городе, но... Фраза за фразой она вытянула из меня всю мою хриплую биографию провинциала и вообще культурного неофита.

Она говорила крайне аккуратно, словно отделяла гласные от согласных пергаментной бумажкой, будто помнила о старинной рецептуре приготовления давно забытых блюд. Еще она не зажевывала окончания — и ее русский язык приобретал какую-то невычурную основательность, будто фразы были фарфоровыми фигурками ЛФЗ с золотым ободком по широкому низу — чтобы, скользко блеснув, не опрокинуться.

Она представилась А. Б., именовала меня “молодой человек В.”, будто это мой титул, вроде вожделенного “кандидат наук”, оказалась сотрудницей какого-то высококультурного учреждения, видимо, решила мне сделать приятное — спросила, бывал ли я в этот свой приезд в Царском Селе? Заметив, что терпеть не может его новое имя Пушкин, словно лакейская фамилия: “Ты чей?” — “Да Пушкина мы”. Какая безвкусица. Был? О, как хорошо. А что мне больше по душе — галерея Чарльза Камерона или Расстреллиевский дворец? Я ответил. О, да у вас, “молодой человек В.”, есть вкус. Это бывает и без глубокого знакомства с эстетикой, как результат искреннего чувства и желания. Я промолчал — это было лучше в моем хлипком положении.

За окном пропадала белая ночь — ельники, березняки в сырой мягкости, будто бы зарю размыли в большом объеме воды.

Она решила говорить сама. И стала рассказывать о статуях в парке Царскосельского дворца. Одна особо ей нравилась, — летом раз в неделю она старается ее навестить.

За окном был апофеоз серо-лилового тона — будто раскрутили огромную штуку простонародной мануфактуры — как в сумасшедшем магазине Бруно Шульца. Но я не стал говорить это А. Б. Я сказал изысканно — “Аметисты”. Боже мой! Лучше бы я сказал про штуку материи. Дама выпрямилась, глаза ее, кажется, увлажнились, она продавала сквозь себя крупный нервный глоток. “О, не говорите при мне это слово. Я их обожаю. Их воспели лучшие русские поэты. Анненский Иннокентий Федорович и Заболоцкий Николай Алексеевич”. Отрекомендовав лучших русских поэтов таким паспортистски-дотошным способом, она прибавила — “скончались в 1909 и 1958 годах, в Санкт-Петербурге и Москве соответственно”. “Вы знаете эти чудесные строки?” Мне оставалось покачать головой. Лучше, чем качать, — кивать, понял быстро я. Уже через минуту в моей немеющей гортани стояло: “Не спорь, не спорь, не спорь...”.

“Как часто сумрак я зову, холодный сумрак аметистов...” И еще — “И будет то не наша связь, а непорочное слиянье!” Слышите — непорочное! — Она смотрела на меня так, будто оно должно было быть между нами. Она читает стихи — отвратительно стуча указательным пальцем, чиркая длинным ногтем пластик откидного столика!

Было ли это похоже на мультфильм? Нисколько, потому что абсурд пробивался совсем через другие щели, не имеющие отношения к зримому мной. Вычурный правильностью язык, доведенный до акцента. Она им щелкала буквы. Дробь пальца о столик не в такт вагонному стуку, ничего общего не имеющего с жалобой стансов. Она была наблюдатель и блюститель каких-то, неясных мне пока интересов. “Я сына насилу научила — все тренировки. Как жаль, что вы с голоса не запомните”, — будто она читала что-то такое, что знала только она. Ночь и спящие вокруг пассажиры, затянутые простынями, как в морге, — не мешали ей отчетливо скандировать шепотом. На ее лице было написано, что через несколько тактов будет запятая или знак вопроса. Только ночная вагонная муха, совершающая путешествие, нагло мешала ей — ползала по столу, садилась на стекло с аметистовыми сумерками, ползала бессмысленно и одновременно деловито. Но перерыва в ее речи не было, куда я мог бы поместить метафизический диэлектрик. Мы даже вышли вместе покурить в тамбур. Ее “Шипка” без фильтра — нахлынула на меня духом безжалостного сражения между сарацинами и гяурами.

И если бы не несколько сюжетных и временных петель этой истории — пересказывать ее не стоило бы вовсе. Такая скоропись безумия в дополнительном поезде “Ленинград — Москва”.

Моя память чудовищность переворачивает в жалкость, и непонятно — что же лучше и вернее. Как это возможно. Разве там действуют замены?

В тамбуре, может быть, оттого что предстала передо мной в полный статный рост, она заговорила о бессмертном Кировском балете, который блюдет заветы. Она процитировала Пушкина “и легкой ножкой ножку бьет”. И когда вагон качнуло — она попятилась в угол к стоп-крану какой-то серией па, — не столь легко, как корифейка, но не хуже фигурантки *миманса*. Она бодро отрецензировала новую постановку, — не вспомню какую, только фразу “Тоголю Николаю Васильевичу в балете делать нечего”. И прибавила: “великий писатель, сотканный из противоречий”.

В этом общении моя речь была совершенно не нужна, я даже перестал кивать. Я больше ее разглядывал. Одета она была, что называется, в ленинградском стиле — в цвет. Скромные оттенки ночного — серого, блузка такая же с настойчивой искрой. Босоножки на танкетке. Ну, брошь, конечно.

Прическа, что называется, “укладка” — крепкого керамического рода, будто выпеченная в муфеле — волос к волоску. Это была самая неколебимая часть ее тела — если бы она упала во время крушения нашего поезда, то восстала бы причесанной в неповрежденной куаферной композиции. Я потом встречал такой стиль — так причесывают в моргах, если не повязывают платка.

Она заговорила о своем сыне в тамбуре...

“Я ему подсовывала научные вырезки из прессы. Он непутевый, некоммуникабельный”.

Кстати, в связи с сыном, она изложила мне свою последнюю волю: кремировать тело; в специальной записке — как одеть, прах развеять в любимых местах — у Мариинского и Камероновой галереи в Царском, в Екатерининском саду, у Публичной библиотеки, у дома, — дальше я не запомнил, но могу поклясться, это был список на два дня, — точки отстояли друг от друга на весьма приличном расстоянии.

Конечно, она говорила и о блокаде, пришедшейся на ее детство. Она не меняла интонации и сказала, что людей, особенно соседей, “безусловно ели”. Повсеместно. И что без этого “было абсолютно нельзя”.

Все-таки я был вынужден заключить, что она была отменно здорова, — ничего бредового в ее речах не было, — общие места бредом не бывают, они просто возникают на руинах жизни. И я через какое-то время представлял себе не просто распорядок ее дня — а расклад всего скорбного годичного цикла. С летней съемной комнаткой в Павловске — поближе к парку, с мартовским загаром у равелина Петропавловки, попытки моржевания, но врач по ногам отсоветовал, абонементы в Малый и Большой залы Филармонии, премьеры Мариинки, потрясающая “Жизель”, кажется, она смотрела ее уже более ста раз — можно проверить по программкам, посильная служба недалеко от дома (не сказала, какая).

И самое пугающее для меня — всегда, во всех ее речевых оборотах, неотлучно присутствовала тень ее сына. Я даже пожалел, что проворонил его на перроне. “Вам будет о чем поговорить с Ярополком”. Хотя я все время молчал и, кажется, уже лишился от потока ее артикулированных сентенций последнего дара речи и голоса.

Надо все-таки сказать, что она усердно потчевала меня — чай из китайского термоса с попугаем, сама принесла стаканы: “Ну, разве в поезде способны хоть что-нибудь заварить? Хорошо, кипяток есть, но разве это “белый ключ”?” — усмехнулась она. Аметистовая ночь густела, видно было, что мы еще не скоро угомонимся, вернее, она.

Пассажирка на ближней к нам полке, легшая головой к проходу, видно, из-за сквозняка, все никак не могла угомониться. Она приподымала голову,

крутилась тучной юлой, путалась в простыне, наконец, не выдержала и сказала моей собеседнице (интересно, можно ли сказать “собеседница”, если собеседник молчит?): “Может быть, можно как-то успокоиться до утра? Вы мешаете спать пассажирам”.

То, что воспоследовало через мгновение, и по сей час стоит в моей памяти. А. Б. со всего маха хлопнула ладонью по подушке недовольной буквально в десяти сантиметрах от заговорившего лица: “А ну-ка, заткнитесь. Надо же, тварь какая!” От этого угрожающего шипения по вагону расползлась такая тишина, что ее, тишину, стало слышно и видно. Я почувствовал стойкий дух дезинфекции, идущий из ближнего туалета. В тамбуре злое лязгнули сегменты перехода. А. Б. сказала на вдохе: “Может, вам, тварь, и вагон отцепить?”.

Грубая брань вместе с обращением “вы” действовала злое. Так, наверное, казнили в страшные годы.

Испуганная тетка уже сидела, вжавшись в угол, закрывшись до самого носа простыней. А. Б. поправила ореол прически характерным жестом — как невидимый боевой шлем. Больше она в ее сторону не смотрела.

Так что я услышал еще раз и великую лирическую тему Анненского И. Ф. и Заболоцкого Н. А. Небо приподнималось над циклопическими разливами мелкого зеркала воды. Мы даже легли вздремнуть друг под другом на узких полках.

Мы доехали. А.Б. встречала сестра, они мгновенно стали что-то давнее незримое делить, вырывая друг у друга сумку.

На этом все и кончилось бы навсегда, если бы я не увидел Ярополка. Об этом стоит сказать.

Глубокой осенью, когда дни, точнее, присвоенные им календарные числа отличаются репертуаром театров, — мы с женой и одним моим старым другом, приехавшим очень издалека, отправились в балет. Это была, конечно, “Жизель-жизель-жизель”, которую нигде в мире, кроме как в Санкт-Петербурге, не увидеть. Признаюсь, что к действию с вилиссами мы уже прилично приняли, и во внутреннем кармане моего пиджака грелась прекрасная плоская фляжка с не менее прекрасным коньяком, кстати, армянским, потому что во всем мире, кроме Российской Федерации, его тоже не попробовать. Друг мой ностальжировал, поэтому мы купили дорожные билеты в партер. Плясала какая-то прима, которая исполняет Жизелей крайне редко, поэтому к подъезду мы пробирались через толпу маньяков, где каждый знал всех, а все — его. Это была такая гоголе-достоевская толпа. Согласно первому, — смешная, второму — страшная. Дешевый парфюм только еще сильнее подчеркивал пародонтозный дух. Смесь, конечно,

особенная. Был аншлаг. Очередь к администратору была угрюмой. При входе в партер проверяли билеты еще раз, и при входе задавали простые вопросы, чтобы выловить иностранцев, обязанных покупать дорогие особые билеты, в отличие от аборигенов. Чтобы я не нахамил на вопрос, типа “а здравствуйте?”, жена держала меня за руку.

Одним словом, весь первый акт рядом с нами зияли два пустых места. В антракте мы в буфете выпили еще, поглазели на фланеров, которые ходили по фойе, как в полонезе, но без музыки и танцев, а просто пешком. Какая-то вычурная тетка в самодельном душераздирающем длинном платье пятилась, галантно отступала в сторону и милостиво улыбалась проходящим мимо. Ее старались не видеть. Ну и все такое. Когда мы уселись — над соседними пустыми стульями уже клубились дежурные. Мы сидели в середине ряда, и до пустых кресел можно было добраться справа и слева. Я услышал шипение, в котором был целый спектр чувств:

“Ярополк, — кто-то говорил сжатыми губами, не размыкая зубов, — Ярополк, занимай, занимай, занимай, дурак. Какой ты дурак! Сейчас зазвонят”.

И действительно, мимо нас, давя ноги и ломая колени, проломился и упал в кресло какой-то унылый дядька. Псих не псих. Вроде как ряженный... У него чудовищный галстук-ацетат синевато-серого цвета. По моде моей юности. Цвета аметиста.

Его вид стоит описать. Он сидел как вкопанный, положив на соседнее кресло руку с программкой, бессмысленно уставившись вперед, будто перед ним на турели был укреплен незримый прибор ночного видения. Его прямая посадка была безукоризненна — вертикаль. Так высаживают мальчиков за пианино, как тепличную рассаду, нет, понял, как точнее — так прорастает белой прямой немочью зимний картофель в подполье. От замыленного запаха пустого клубня мне будет еще долго не отделаться.

Он так и просидел все заключительное действие — как куст картофельной ботвы, будто вилиссы проходили сквозь него, как иллюзионисты сквозь ширму. Он давал миллион поводов сказать так, т. к. почему-то требовалась точность в наречении. Я даже не мог никак сообразить, — что же произошло со мной — выпил я с другом совсем немного. Вот и сейчас по наперстку отхлебнули, и я сдержал себя, чтобы не протянуть фляжку своему соседу. Стоило сказать, наверное: Ботва, хряпнешь? Чтобы люстра не обвалилась. Рядом с ним уже кто-то завозился. Он, не меняя позы, говорил:

“Да, мама, мама, нет. Шумгина — корифейка, повелительница вилисс — Ситникова-мл. Анну Владимировну с третьего яруса не видел”.

На него обрушилось шипение, будто отворили вентиль в кубовом закутке:

“Что ты мне лжешь? Ты, как всегда, лжешь. Какой цинизм... Я видела Анну Владимировну, она вышла из отгула. Я ее видела, как тебя. Как ты не мог видеть Анну Владимировну? Ты, как обычно, лжешь мне”.

“Да, мама”.

“Какая низость все-таки”.

Она немного успокоилась, и отчетливый шепот образовывал плотную вату, которая впитывала в себя всю ничтожную людскую влагу, — все понимали, что важнее и искреннее этой эмоции ничего быть не может. Но вот занудели синие зауспокойные такты. Вилиссы топали, так как имели живой вес. Когда из-за кулис вышла в обмороке Жизель, — они оба, будто репетировали, сказали в себя “Ах!” без “ха”. Но ахать можно и без “ха”. Балерина была ничего себе, и какой-то дервишский наркотик просыпала вокруг своей вращающейся бледной фигуры.

Мои соседи переживали настоящий, совершенно не утрированный экстаз. Он ломал руки, вцепившись в подлокотники — древесина должна была пойти щепой. Я словно чувствовал его напряжение, будто это он — “кавалер умученных Жизелей”. Смотреть на него, даже искоса, было страшно, словно в нем было что-то люциферическое, и я почуял вес атмосферного столба, лежащего мне на плечи. Я уже не смотрел “Жизель” — я смотрел на эту пару, переживающую посмертную ерунду так, что, казалось, в этой самоотдаче они теряют связь с жизнью, здоровьем, свежим воздухом, чтобы одинаково пережить эту дурацкую условность. Плохая музыка ныла. Дирижер явно подстраивал ритмы под шаг танцующих. “И ла-ла-ла, раз-два-три... ла-ла”.

“Смушкина... о, как сегодня Смушкина. Я просто не могу”.

“Да, мама, Смушкина”.

В общем, ничего-то особенного. Мать и сын любят балет до безумия. Да пожалуйста, любите. Но зрелище они порождали нечеловеческое, да что зрелище — пахло бедным домом. Ведь бывает, что опрятностью и чистотой пахнут, и этот запах ничем не забить — ни едким одеколоном, ни конфеткой “барбарис”, болтающейся во рту...

Хлопали они неистово, высоко воздевая руки — перед самым лицом. Выскочили так же неистово, как и пробрались на чужие места, толкнув нас, как мебель. На мое “знаете ли...” она чем-то облила меня: “Не в театр надо ходить, а в баню пиво пить”. И я протрезвел от этой фразы.

Я еще раз встретил как-то их — там, где Мойка скрещивается под острым углом с Пряжкой, — самые безумные места — Блок, психушка, верфи, заводы. Они шли, держась за руки (я вспомнил мать Блока и самого А. А.), примерно туда, куда могли идти они, и она печалилась о Любе и много о чем. Мне было не смешно. Старая жесткая мегера держала за руку своего загубленного сына-перестарка, не написавшего, судя по всему, ни строчки, но загубленного по такому же гениальному плану, с таким же ошеломительным властным масштабом. И я еще подумал, что это — необходимо. Без объяснений — просто необходимо, оттого что непорочно, как блеск аметистов.

Вариант 2. Целостный анализ лирического стихотворения

Выполните целостный анализ стихотворения И. Бродского «Одиночество», приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: философский смысл, лексическое богатство, особенность поэтической манеры.

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.

И. Бродский.

Одиночество

Когда теряет равновесие
твоё сознание усталое,
когда ступеньки этой лестницы
уходят из-под ног, как палуба,
когда плюёт на человечество
твоё ночное одиночество, —
ты можешь рассуждать о вечности
и сомневаться в непорочности
идей, гипотез, восприятия
произведения искусства —
и даже самого зачатия
Мадонной Сына Иисуса.
Но лучше поклоняться данности
с её глубокими могилами,
которые потом, за давностью,
покажутся такими милыми.
Да, лучше поклоняться данности
с короткими её дорогами
которые потом до странности
покажутся тебе широкими.
Покажутся большими, пыльными,
усеянными компромиссами,
покажутся большими крыльями,
покажутся большими птицами.
Да. Лучше поклонятся данности
с убогими её мерилami,
которые потом, по крайности,
послужат для тебя перилами,
хотя и не особо чистыми,
удерживающими в равновесии
твои хромающие истины
на этой выщербленной лестнице.

2.ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Прочитайте стихотворение Ю. Левитанского. Как вы заметитили,
«... женщина тут, впрочем, ни при чем. Здесь речь о елке. В ней-то все и
дело.»

Портрет женщины в стихотворении не дан. Предлагаем вам создать
подробный словесный портрет женщины в момент, выделенный в тексте
курсивом. Портрет, созданный вами, должен рассказать о характере
женщины, ее душевном состоянии и отвечать авторскому отношению к ней.
Описывая портрет, используйте известные вам художественные средства.

Ю. Левитанский

« Как показать зиму»

...но вот зима,
и чтобы ясно было,
и чтобы ясно было,
что происходит действие зимой,
я покажу,
как женщина купила
на рынке елку
и несет домой,
и вздрагивает елочкино тело
у женщины над худеньким плечом.

Но женщина тут, впрочем,
ни при чем.

Здесь речь о елке.
В ней-то все и дело.

Итак,
я покажу сперва балкон,
где мы увидим елочку стоящей
как бы в преддверье
жизни предстоящей,
всю в ожиданье близких перемен.

*Затем я покажу ее в один
из вечеров
рождественской недели,
всю в блеске мишуры и канители,
как бы в полете всю,
и при свечах.*

И наконец,
я покажу вам двор,
где мы увидим елочку лежащей
среди метели,
медленно кружащей
в глухом прямоугольнике двора.

Безлюдный двор
и елка на снегу
точней, чем календарь, нам обозначат,
что минул год,
что следующий начат.
Что за нелепой разной кутерьмой,
ах, боже мой,
как время пролетело.

Что день хоть и длинней,
да холодней.
Что женщина...
Но речь тут не о ней.

Здесь речь о елке.
В ней-то все и дело.